

Николай Петрович Вагнер

Майор и сверчок

Н. П. Вагнер
МАЙОР И СВЕРЧОК

Эй! Иван! Тащи паровоз! Мы поедем через Китай прямо в Ямайку!

И тотчас же Иван-денщик тащит небольшой походный самовар красной меди и ставит его на стол.

Он очень хорошо знает, чего требует майор, потому что каждый вечер аккуратно майор ездит через Китай прямо в Ямайку. И несет Иван Китай, в маленьком ящичке из карельской березы, который попросту называется чайницей. Несет он и чайник, и стакан, и самую чистейшую ямайку в высокой бутылке с раззолоченным ярлыком.

Пьет майор стакан, пьет другой. В самоваре красной меди видно его красное лицо с вспотевшим лбом и длинными усами.

— Ну, — думает майор, — теперь я в самой Ямайке!

А самовар шумит: шу, шу, шшу! Вот уж пятнадцать лет, как тебе я служу. Бывал я с тобой в разных походах и разные виды видал. Стары мы, стары мы с тобой, старина. Шу, шу, шшу!

— Ну, это — старая песня, — говорит майор. — Нет ли чего поновее?

— Шшу, шшу, шууу! — шумит самовар. — Был я нов, молод и свеж, это было давно, это давнишняя старая песня. Меня родила на свет мать сырая земля. Долго, долго в ее тайниках я лежал. Наконец, увидел я свет. Меня бросили в печь и там — шуу, шу, шу, — я весь растопился и потек, полился огненной яркой струей — ши, ши, ши, и застыл, и очутился блестящим медным куском. Стали опять меня топить и ковать. Шту, шту, шту, шту, шту!..

— Послушай! Нельзя ли обойтись без шума? Рассказывай, да не шуми!

— Не могу! Я уж так привык, а привычка вторая натура. Шу, шу, шу, когда в первый раз меня поставили на ноги, все заблестело, все отразилось во мне, и я увидал и черные рабочие руки, и славные загорелые лица рабочих. Они все трудились в поте лица, стучали, шумели, — шу, шу, шу! Шту, шту, шту! Когда ж поставили в первый раз в жизни меня, тут кипучая жизнь заиграла во мне и я весь закипел и запел громкую, веселую песню, шу, шуу, шуууу! — Вспомни же, вспомни, старый товарищ! Сколько раз, после длинной и грязной дороги, под ветром холодным и мелким до-

ждем, вы собирались в палатке, вокруг старого друга — меня, и блестели, сияли весельем во мне ваши веселые лица, и поил и грел я вас, и пел я мою старую песню! Шу! Шу! Шу!

— Эх! все это было, черт возьми, — вскричал майор, — действительно было! Веселое, старое, походное время! — И он выпустил целое облако дыма из своей длинной трубки.

— И где ж они теперь, — продолжал самовар, — наши старые друзья удалые, собутыльники лихие?! Одни давно уже легли на кровавом поле. Их завидная доля!

Другие вперед убежали, генералами стали. А мы остались с тобою одни, и сидишь ты теперь одинокий, в деревенской избе. Стары мы, стары мы с тобой, старина! Шу, шу, шу!..

— Да! — говорит майор, — видно, судьба обошла нас. Будем жить не тужить, век доживать, — и он выпил третий стакан. Эх, поскорее бы добраться до Ямайки! Да! Да!

Остались мы одни с нашими длинными усами. Ну, да таких длинных усов зато ни у кого на свете нет, и он расправил и покрутил их.

— Чили-тили, чили-тили! Какой вздор, со-

вершенная ложь, у меня гораздо длиннее усы. Чили-тили, чили-тили.

— Это еще что за песня! — закричал майор и повернулся к печке, а из-за печки смотрел сверчок и дразнил майора своими длинными усами.

— Откуда пожаловал?! А? что за птица? Каждый сверчок знай свой шесток!

— У меня нет своего шестка. Чили-тили, чили-тили. Но зато я всегда сижу за чужой печкой. Сижу и пою: чили-тили! чили-чили-тили! А если ты хочешь знать, откуда я пришел, так это я тебе сейчас доложу. Был я, генерал ты мой, у соседа, на тараканьем балу. Народу была бездна. Целый угол за печкой битком набит тараканьем. Угощение было: корочка сухого хлеба, прокислый творог и телячья косточка. Одним словом, все было очень прилично. Тараканы вели себя великолепно. Старые очень важно разглаживали усы. Молодые, со шпорами на ножках, расшаркивались перед дамами. А дамы были все премилые таракашки. В особенности одна, такая тоненькая, рыженькая. «Сударыня, — сказал я, — у вас премиленькая, маленькая нож-

ка. Чиль-тиль, чиль-тиль!» Но она тотчас же спрятала ножку под крылышко и опустила усики к земле. — «Я, — говорит, постоянно хожу за моей мамашей, вы верно знаете мою мамашу, она ходит с таким большим яйцом». Просто милашка-таракашка!

— Ах, черт возьми! — вскричал майор, — ведь и я был молод, и молодец хоть куда! — и он допил четвертый стакан.

— Чили-тили! Чили-тили! Тиль, тиль! Тиль! Кто не был из нас молод? И я помню мою молодость. Но это было давно. В тихий весенний вечер. — Я так сладко пел, как поют только в первый и в последний раз в жизни. Я пел за большой изразцовой печкой у помещика. А в комнату несся запах сирени, запах молодых первых белых и душистых ландышей. Я пел из всех сил моих молодых, певучих крыльев, а барышня сидела за фортепиано и изо всех сил играла старую песню о том, как гнался лесной царь, с большой бородой и в темной короне, гнался по темному лесу за маленьким мальчиком. Ах, как плакал бедный мальчик и как страшно стучал лесной царь по клавишам! Так что все фортепиано

дрожало. Наконец, умер бедный мальчуган. Тихие струны торжественно прозвенели в воздухе и затихли навеки. И в этой тишине я вдруг услышал позади себя робкий шепот. Я оглянулся — это была она. Понимаешь ли ты? Она — моя добрая, тихая подруга моей скромной, уютной жизни! Сквозь стук лесного царя и гром бури она все-таки услышала мою простую, безыскусственную песню и пришла ко мне! Понимаешь ли, что это было хорошо? Тиль! Тиль! Тиль! Тиль!

— Эх! — вскричал майор, стукнув по столу кулаком, — ведь это действительно хорошо, но этого я никогда не испытывал, а тоже был молод. — Ах, скоро ли я доберусь до Ямайки?! — И майор выпил еще стакан, но который — он уже и сам не помнил. — И зажили мы с ней, — продолжал чиликать сверчок, — у помещика за печкой. Ах, как хорошо нам было там, с нашими маленькими сверчатками. В темные осенние ночи, как теперь, она сидела подле меня, моя добрая подруга.

— Эх ты! — вскричал майор и ничего больше не сказал. Он только крепко прижал к сердцу свою длинную трубку. Но ведь это бы-

да не подруга жизни, а простая, обыкновенная походная трубка.

А сверчок продолжал свою песню.

— И рассказывал я своим сверчатам длинную, бесконечно длинную, старую сказку о том, как дерутся домашние сверчки с полевыми. Прежде, в старое, старое время, все сверчки были один народ и все жили без затей в норах, в чистом поле, но как завелись около сверчков люди, то многие заползли к ним в теплые избы. Кто же, скажи, не ищет себе места, где потеплее и получше? На что простая рыба, и та ищет, где глубже!..

— Да! Да! — сказал майор и понурил свою седую голову, — потому что он во всю свою жизнь не искал где глубже, зато теперь он с удовольствием опустился бы в самую глубь Ямайки.

— И вот, не скоро только сказка сказывается, а гораздо того скорее стали мы, запечные сверчки, совсем другими. Стали мы народ хилый, плохой, и полевые сверчки стали для нас совсем чужие. С этих самых пор пошла у нас рознь, ссоры и распри. Выйдем все, бывало, из-за печек в поле, построимся в шеренги,

впереди скачут сверчки-музыканты; скачут туда-сюда сверчки-адъютанты. Вперед, братцы, вперед! — кричат сверчки-генералы...

— Вперед! — закричал и майор, бодро вскочив с кресел, но тотчас же оперся на стол, потому что и стол, и пол, и все под ним и перед ним качалось точь-в-точь, как бывает на море в бурю. И немудрено! Ведь он ехал в Ямайку, которая лежит на самом море, а в сердце майора бушевала сильная буря.

А сверчок продолжал:

— И пойдет у нас свалка, — пыль столбом, дым коромыслом. Полевые сверчки все больше берут нахрапом, да силой. Скачут, летят они со всех сторон.

И майору кажется, что действительно со всех сторон летят черные сверчки. Они носятся в облаках табачного дыма, летают над свечкой, цепляются за длинные усы майора. Он их ловит, ловит и не может поймать. А сверчок запечный по-прежнему сидит за печкой и рассказывает свою бесконечную сказку, все громче и громче, как будто над самым ухом майора кричит он без умолку: Чиль-тиль, чиль-тиль, чиль-тиль!

— Бьемся мы час, бьемся и два, — кричит он, — щиплем их, треплем, а они все прибывают и, наконец, начинают одолевать нас: тогда мы бросаемся врассыпную по широкому полю. И, наконец, спасаемся мы за наши печки. Чуть не каждый день идут у нас битвы, целые длинные годы. Старые седые сверчки говорят, что, наконец, настанет время, когда улягутся все раздоры, и все мы, сверчки, побратски соединимся в один народ, в одно стадо... Да видно это блаженное время тогда настанет, когда ни одного сверчка на свете не будет! — И сверчок пропел свое грустное, последнее: Чиль-тиль! — и замолк.

А майор?.. Но майор уже давно ничего не говорил!

Свечка догорела, самовар потух, трубка погасла, а сам майор лежал истым богатырем просто на полу, подле кресла, и храпел богатырски...

Ах! наверно теперь он был в самой Ямайке!..